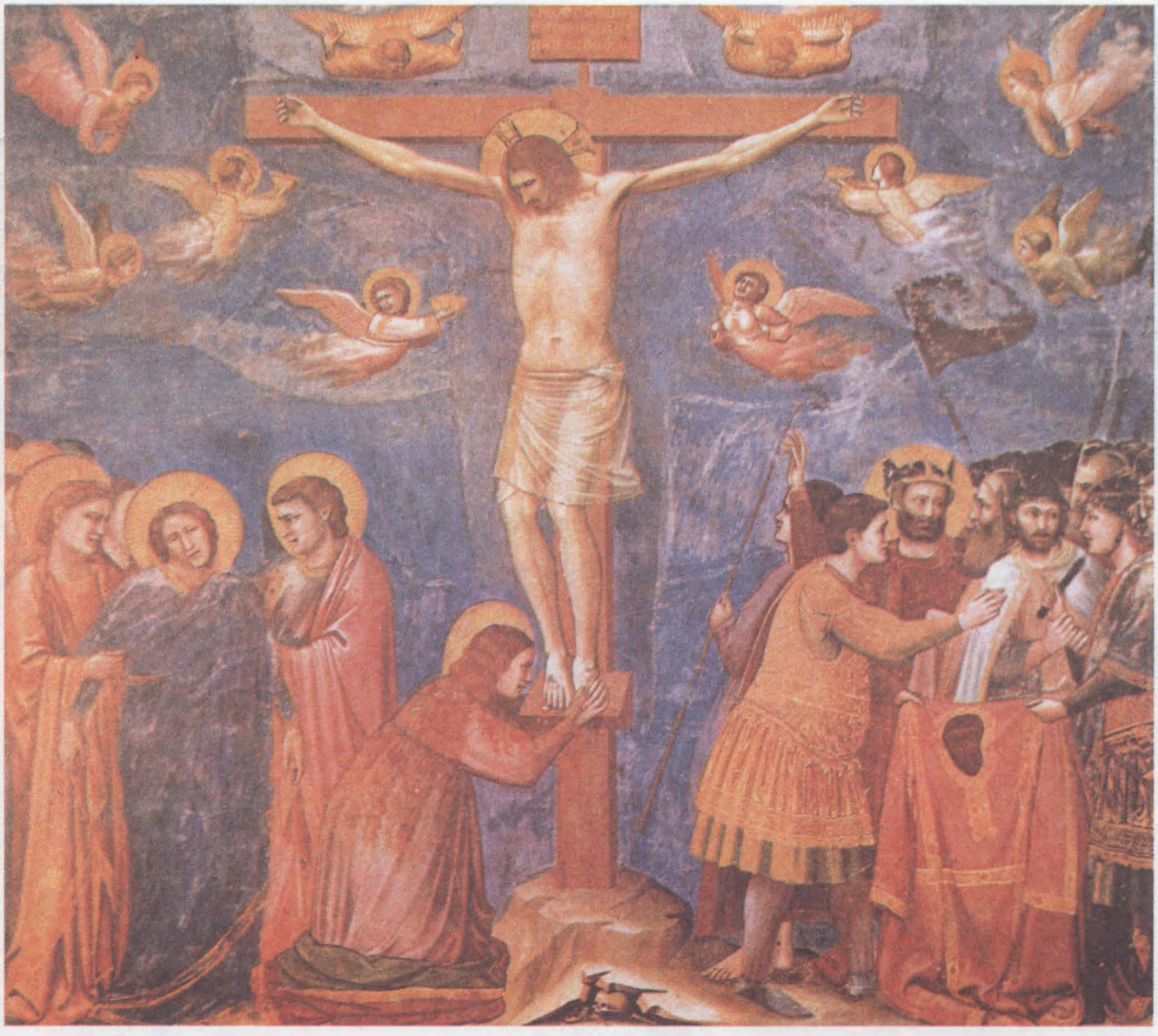
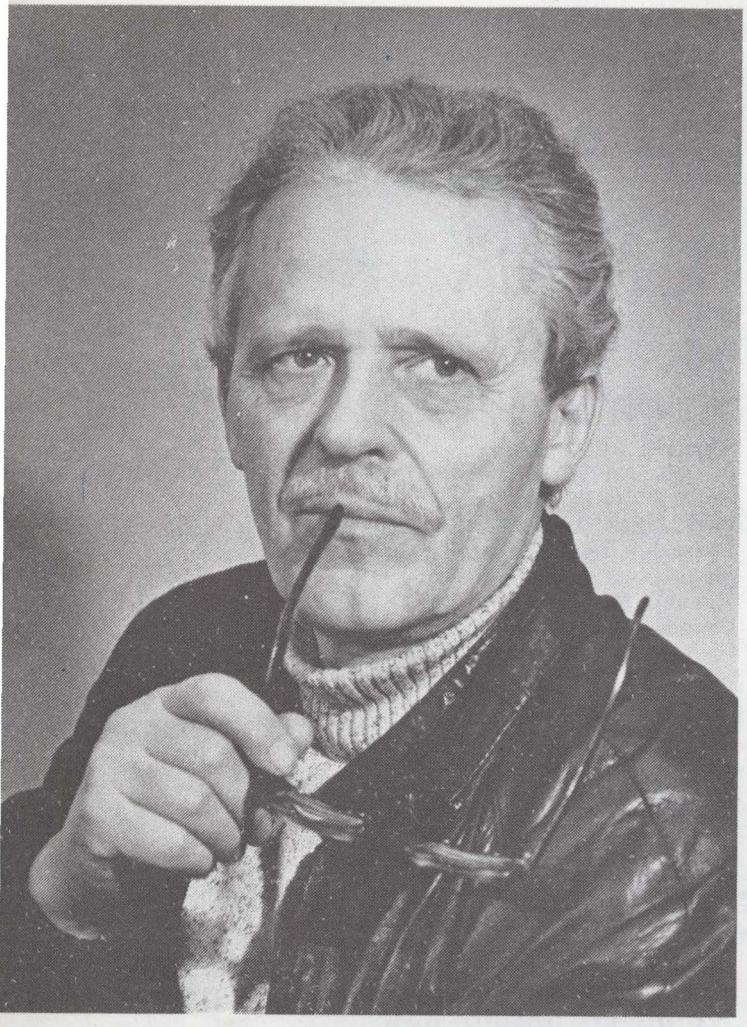
ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

4 '91



ДЖОТТО ДИ БОНДОНЕ. 1267 — 1337 гг.
Распятье. Падуя. Фрески капеллы Скровеньи. Италия.



Борис ВАСИЛЬЕВ

КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ

Повесть

Рисунки Андрея Сальникова
Фото Леонида Шимановича

Глава первая

Читал я или слышал... Может быть, слышал, может быть, в Крыму, ранним утром у моря. Было тихо, шуршала волна...

...и далеко-далеко от этих скал, от узкой полоски пляжа и еще дальше от времени, в котором я слушаю,— иной берег и иная волна. И голые ребятишки, дети рабов, собирают цветную гальку. А старики, уже не пригодные ни для какой работы, неторопливо рассматривают каждый камешек. Цвет, форму, оттенок. И кладут в кучу, отвечающую цвету, форме и оттенку.

Потом рабы-художники создадут из этих камешков мозаики, которым не страшны века. Сказочные древнегреческие мозаики, и поныне радостно вспыхивающие веселыми красками детства, как только их омоет вода.

Но мне не успеть сложить свою мозаику. Само время мое рвется на куски, рассыпая кое-как склеенные сцены то ли жизни богов, то ли мифов моих...

1

— Поедем в Крым, сынок.

У отца синие глаза и по два красных ромба в каждой петлице. И два ордена боевого Красного Знамени. И двойная кавалерийская портупея: к ней полагается цеплять саблю, но отец саблю не носит. Он не расстается с офицерским наганом-самовзводом в потертой кобуре. Кобура старше портупеи: отец меняет портупеи, но первую в своей военной жизни кобуру не меняет никогда. Не из суеверия: просто он знает, сколько секунд ему надо, чтобы револьвер оказался в руке.

— Тебе же предлагают санаторий.

Это мама. Они с отцом поделили строгость и нежность, и маме досталась строгость. И темные мучительные глаза: я не боюсь ее взгляда — я мучаюсь от стыда, если что-то натворил.

— Надо ходить и смотреть,— улыбается отец.

— Почему же обязательно в Крым?

— Там есть на что смотреть, не уставая.

— Но там нет хлеба.

— Там люди.— Отец почему-то вздыхает.— Очень добрые люди.

— Там нет хлеба.

Я знаю, что такое хлеб. Это — великое знание: оно приходит тогда, когда уходит хлеб. Когда его делят поровну в школе и не поровну дома. Нет, мы не голодаем, но мама делит хлеб не поровну, и больший кусок вот уже который год достается мне.

Я знаю, что такое хлеб: это жизнь. Я знаю, что его нельзя есть на улице, потому что за него могут убить. Мне хорошо известно, как молчат голодающие, как они при этом смотрят и сколько крика в их застывших глазах. Они не закрыты даже у мертвых, и оставшийся в их глазах крик — это на всю вашу жизнь. Я это видел, зимой тридцать второго. А ведь мне сейчас всего десять лет: что же я увижу еще?..

Может быть, именно этого и боится мама: что я еще увижу? О голоде не говорят и не пишут — голод кричит о себе сам. Он волнами идет с юга, и мама очень не хочет, чтобы мы ехали в Крым.

А отец хочет. Он закончил там свой поход по гражданской войне и получил второй орден. И я понимаю, почему его так тянет в неизвестный мне Крым к не виданному мною морю.

— Мы пройдем пешком от Байдар до Алушты, сынок.

Мы пройдем: ведь мама непременно согласится. Голубые глаза отца сильнее всех ее страхов.

2

Первое, что я постигаю в Крыму,— это что значит «жрать». Громко чавкая, заглатывать куски, всхлипывая, всасывать в себя все, что норовит проскочить мимо рта. И при этом сопеть, всхлипывать, стонать.

Жрет наш хозяин. Жрет все подряд: арбуз, коньяк, груши, яблоки. Отец медленно пьет золотистое вино и, кажется, совсем не слышит оглушительного чавканья и сопенья.

— Если бы Федор опоздал с ударом, тебя бы смяли. Помнишь, как шли офицеры? Плечом к плечу, плечом к плечу.

— Знаю.

Кажется, отец говорит это слово, отвечая себе самому.

А я объедаюсь виноградом: я ведь никогда его не пробовал. И очень хочу запомнить вкус, чтобы рассказать в классе... Нет, я постараюсь запомнить вкус винограда не для разговоров. Почему у голодных детей такие большие глаза? Они вырастают, когда все остальное съеживается. Руки, ноги, лица. Щеки — скобки внутрь, и редкие, жалкие волосики девочек: от голода растут только глаза.

А я лопаю виноград на веранде дома в огромном саду под Симферополем. Два дня и три ночи мы ехали сюда в полупустом вагоне: на юг еще мало кто ездит. Юга привычно боятся. Но мы едем не просто в пассажирском: мы едем по литеру первого класса. Три раза в день нам полагается сладкий чай и по два куска хлеба со свиным жиром. Это очень вкусно. Очень.

—...Оживают тут помаленьку, товарищ командир.

Отец любит поговорить и легко завязывает разговор даже с незнакомым человеком. А проводник сидит у нас в купе не меньше, чем в своем.

— То, что кошек, собак, ворон ели, то и в войну случалось. А вот чтоб трупы — того прежде не случалось, товарищ командир. Это уж вы не серчайте, это я не по слухам говорю: только помрет — еще теплого порубят, если силы остались, а нет — так целого в котел. Головой вниз: мозги наваристее.

Они разговаривают много, а я гляжу в окно, и в памяти остаются только осколки их разговоров. Осколки вонзаются в мозг осколками — это я успеваю сообразить позднее. Вонзаются и застревают.

— Оживают тут помаленьку, товарищ командир.

В Симферополе нас встречает старый сослуживец отца с одним ромбом и одним орденом. И вот мы в его доме. Я ем виноград и стараюсь запомнить вкус, а старшие вспоминают прошлое, и вкус этого прошлого — горьковатый.

— Мурзова знал? Когда Сиваш форсировали, судорога, что ли, его скрючила. Холодно было, а вода — по грудь, и упал он. Задергался и упал. И за меня цепляется. Ну, оторвал я его от себя, конечно, даже вроде стукнул... Осуждаешь?

Молчит отец.

— До сих пор цепляется, веришь? До сих пор.

— Все они за нас цепляются.

— А почему? Бога ведь нет. Мистика!

А я ем виноград, и сок течет до локтей. И очень хочу запомнить вкус. Очень, очень, очень.

Входят полная смуглая женщина и девочка в бантах. Виноградины застревают у меня в горле.

— Здрасьте.

Отец привычно встает, большими пальцами перегоняя складки гимнастерки за спину.

— Та то же жинка моя, жинка! — Хозяин тянет отца за руку, усаживая на место.— Ступай отсюдова. Чаю хочу.

— Сейчас. Я сейчас.

Женщина уходит, оставляя девочку в бантах.

3

Что умирает раньше — тело или душа? Говорят, что душа бессмертна, но если она теряет свое «я», свои память, стыд, боль, совесть,— она мертва, ибо уже абстрактна. Тогда она всего лишь бессмертный сосуд, каждый раз с новым рождением наполняемый новым вином. Так что же истекает раньше — моя кровь или мое вино? Что сочится по каплям слов?..

—...Особняк наш в саду Христофорова. Бывшего буржуя.

— Особняк?

— Конечно, так положено. А разве у вас нет особняка?

Хорошенькая девочка чуть старше меня идет рядом. Я вижу ее, хотя стараюсь не смотреть: дочь фронтового приятеля отца. Нас отправили гулять, когда женщина ушла за чаем и девочка осталась одна. Но я не хочу гулять вдвоем с девочкой, потому что все девочки стали казаться мне прекрасными и я утратил свободу. Я глупею в их присутствии и спешу соглашаться.

У нас нет особняка, нет сада, нет ящиков с вином и фруктами, которые я видел на веранде. Мы живем в двухкомнатной квартире с печным отоплением, и я до школы обязан принести три охапки дров. Помоему, у нас роскошное жилье, потому что до этого мы ездили по всей стране и жили, где придется. В бараках, вагонах, землянках, палатках. И у нас нет ничего, кроме книг и маминого чемодана: все остальное нам выдают. Столы, стулья, посуду, ложки и вилки, одеяла и простыни. Отец всегда говорит, что это замечательная система, что нас отлично снабжают, и поэтому мы таскаем из гарнизона в гарнизон только ящики с книгами да мамины вещи.

— Мы не буржуи.

Я упрямо смотрю в землю, и тон у меня земляной. Тяжелый и неприветливый, потому что я говорю через силу.

— Неправда, это мы не буржуи, мы из батраков! — с торжеством кричит девочка.— А вы как раз-то и есть настоящие буржуи, папа говорил.

Она спохватывается и замолкает. Я тоже молчу, а ей очень надо утолить любопытство. Просто необходимо, ее жжет изнутри.

— А правда, что твой папа — царский офицер?

— Не царский, вовсе не царский. Окопный.

Сколько раз меня допекали мальчишки отцовскими золотыми погонами. Я дрался и никому ничего не говорил, но мама дозналась, когда мне вышибли зуб. И объяснила разницу между царским золотопогонником и окопным командиром батальона. Но этой девочке я ничего не хочу объяснять, потому что помню кусочек разговора между мамой и отцом. Они думали, что я на улице, а я искал под кроватью закатившийся патрон.

— Вчерашние батраки били севрский фарфор и стреляли по богемским люстрам. Помнишь, как я пыталась объяснить им, почему этого не следует делать? А они громко хохотали и растапливали буржуйки Пушкиным.

— Это наша вина. Мы веками держали их в темноте.

— А теперь они просветились? Они волокут в дома все, что могут отобрать или раздобыть. И хвастаются, у кого дом больше. Просто больше, в геометрическом измерении.

— Вероятно, период чисто количественного накопления необходим. Понимание придет потом, понимание — признак культуры. Так же, как накопление — признак варварства.

— А не будет ли слишком поздно? — вздыхает мама.— Неуловимый шаг — и накопление превраща-

ется в самоцель. И уже нет места пониманию, что же есть истинные ценности. Не будет ли слишком поздно?..

Не будет ли слишком поздно?.. Культура вытекает из России, как кровь из продырявленного пулями тела. Сколько их всадили в тебя, Родина моя? Сколько пустили на тот свет душ, так и не успевших отдать тебе осмысленное, выстраданное, взлелеянное? Даже любви не успели тебе отдать. Миллионы таких, как я, умерли, не вернув любви, и ты стала суровее и злее, земля предков моих. Мы обокрали тебя не по своей вине, но — обокрали.

— А у твоего папы есть слуги?

Девочка продолжает изнемогать от злого любопытства. Я чувствую эту потаенную злобу, но не понимаю, откуда она в этом букете бантов. И тоже начинаю злиться: конечно, добро не всегда способно породить добро, но зло рождает только зло. Только зло, и ничего более породить не способно.

Но это я познаю в эпилоге жизни: есть такие жизни — с эпилогом. И очень часто дело не в возрасте, а в том, есть ли в твоей жизни эпилог или нет. У меня оказался, а тогда, в сладкий симферопольский вечер, я очень рассердился:

— Твой папа умеет сделать детекторный приемник? А печку может сложить? А кто чинит туфли тебе и твоей маме?

— Сапожник! — вдруг с ненавистью кричит она.— Сапожник чинит, а мой папа — командующий!

— Значит, это у твоего папы есть слуги.

Секунду она смотрит на меня, и я впервые не отвожу глаз. И вдруг вижу, как она некрасива во всех своих бантах. Она зла и тонкогуба, у нее острые ненавидящие глазки и щеки, которых хватило бы на половину девочек нашего класса, чтобы не смотрелись они так горько — скобками внутрь.

— Дурак!..

И стремительно убегает. А я остаюсь один в сладком саду неизвестного мне буржуя Христофорова.

4

На зубах скрипит пыль. Здесь, в Бахчисарае, она серая и жесткая, злая и горькая. Сколько лет прошло, а я и в этот миг ощущаю ее горькое зло.

Неужели все было? Неужели я и в самом деле видел ханский дворец, «фонтан слез», могилы Гиреев? Неужели я слышал гортанный рокот базара, страждущие вопли ишаков, ржание лошадей, блеяние овец, скрежет незнакомых с дегтем арб?..

А до этого — фантастическое путешествие на автомашине командующего, того, что встречал нас, угощал виноградом. Он дал нам свой автомобиль с откидным верхом и шофера, но отец ведет машину сам, а шофер сидит сзади. Тарахтит мотор, нас бросает на рытвинах, желтая пыль тянется за нами, а я верчу головой и жалею, что нельзя одновременно смотреть в обе стороны. Но чаще всего и справа, и слева — сухие, выжженные солнцем склоны, занозисто-колючие даже для скользящего взгляда. Степной Крым — место, где можно только стоять: на этих упругих, независимых колючках нельзя валяться, как тебе хочется.

У райсовета мы оставляем машину с шофером и идем к ханскому дворцу. И здесь отец бросает меня с наказом не высовываться за территорию музея. Я не успеваю вторично, теперь уже с экскурсоводом пройти по залам, как отец возвращается:

— Идем.

На окраине в маленьком, ощутившем свою скорую кончину духане нас ожидает человек в чесучовой тужурке и соломенной шляпе. Я не привык видеть людей в шляпах: я мальчик из военных городков, где «шляпа» — определение весьма неодобрительное, противоположное неукоснительной точности исполнения. Даже мой отец применяет это слово, роняя его коротко и весомо: «Шляпа!» А сейчас сидит со «шляпой» за деревянным столом в умирающем духане. И я сижу вместе с ними и ем грушу, которую дал мне иссохший человек в старой шелковой рубашке, подпоясанной кавказским наборным ремешком.

— Бахчисарай славится грушами, мальчик.

Он дал мне грушу и ушел, шаркая чувяками. А мне стало грустно от этих взрослых, ничего не определяющих слов, грустно и почему-то совестно, и даже груша не утешала меня. Я не ощущаю вкуса и потому слышу, о чем говорят взрослые.

— Три года назад начали чистить армию. Я заглядывал в кое-какие списки — так, по старым связям. Я нашел знакомых, но не нашел тебя.

— Удивлен?

— Я бывший начальник разведки твоей кавбригады. Я хочу знать.

— Что ты хочешь знать? То, чего и я не знаю?

«Шляпа» молча прихлебывает вино. Неужели он был начальником разведки у отца? Наверно, он был плохим начальником разведки, потому что у него нет ордена.

— Я стал бояться,— вдруг говорит он.— Кажется, не я, а мы стали бояться, мы все. Почему? Мы же голой грудью перли на пулеметы и кричали гордые слова на площадях, когда нас вешали деникинцы.

— Тогда была война, а сейчас — политика. Армия не вмешивается в политику.

— Лукавишь. Занимаетесь вы политикой, вы, которые наверху.— «Шляпа» достает мятую пачку дешевых папирос, протягивает отцу.

— Ты забыл, что я не курю, Тимофей.

— Подумал, что мог закурить.— Тимофей прикуривает.— Ты узнаешь время? Я перестаю его узнавать, это не наше время. Это время говорунов: где они были, комбриг, когда мы с тобой ездили уговаривать Батьку?

Отец — комдив, и я сначала удивляюсь, что его называют комбригом, но потом соображаю, что старый друг в шляпе обращается к нему так, как привык обращаться. А тут опять появляется духанщик, приносит пахучее мясо — много мяса, пожалуй, месячную норму! — и скучно говорит пустые грустные слова:

— Бахчисарай славится шашлыками.

Мы начинаем есть мясо. Оно острое, жгучее, ароматное; мужчины запивают его густым вином, а я — водой. И ем, ем — никогда еще я так вкусно не ел.

— Видел фильму «Красные дьяволята»? Там показано, будто Махно печатал деньги. Зачем врут? Нестор Иванович никогда не печатал никаких денег. Все печатали, а он — нет. Он был честным. Думаю, самым честным, вот как я думаю.

— Поэтому ты и ушел.

— Не поэтому. Где тебя достала офицерская пуля? Под Форосом?

— За Форосом. На пароходы смотрел. Они были перегружены и гудели во все стороны... Рыдали во все стороны, а из моря торчали головы. Как пни после порубки. По ним били из пулемета, по тонущим. Я хотел остановить, но кто-то выстрелил.

— Значит, не все еще были в море.

— Пуля звания не имеет.— Отец усмехается в усы.— Ее звание — калибр, и била она из твоего допотопного кольта. Ты хотел убить меня, Тимофей.

— Если бы хотел — убил.

Мужчины не повышают голосов и не задают вопросов. Зачем зря спрашивать, когда все уже прошло?

Отец жив, и его бывший начальник разведки тоже жив, и лучше молча пить вино.

— У Батьки на тебя была последняя надежда. Почему он верил тебе, а взял слово с меня? Брал слово с меня, а тебе просто верил и отдал две тысячи лучших своих сабель лично под твое начало. А ты их бросил, комбриг. Они ворвались в Крым первыми, они проложили дорогу нашей бригаде, а ты их бросил и ускакал аж за Форос смотреть, как тонут беляки.

— Беляки — тоже люди.

— А махновцы не люди? Пока ты метался по берегу, их твоим именем отвели под Ачи-Курган, приказали спешиться и ждать. И когда они спешились и отпустили подпруги, вылетели четыре тачанки, и с них в упор открыли огонь. По людям, по лошадям, я такого не видывал. Из крови шел дождь. Четырнадцать лет мне снится этот дождь. Только Марченко вырвался через Перекоп с двумя сотнями хлопцев, только Марченко. А Батько сидел в Гуляй-Поле и верил тебе.

— Таков был приказ.

— Ты знал, что хлопцев все равно кончат.

— Таков был приказ.

— И поэтому ты сбежал на побережье.

— Я искал младшего брата. А потом ты догнал меня и почему-то не убил.

— Не знаю.

Это едва ли не первая пауза в их стремительном, почти истерическом диалоге, который я скорее воспринимаю чувством, чем понимаю разумом. И, кажется, испытываю что-то похожее на стыд.

— Я искал брата. Сопляка-гимназиста, который ушел с Врангелем за романтикой. Я хотел набить ему физиономию и увезти с собой.

— Выпьем, комбриг. Мы были на похабной войне.

— Мы были на войне, где не нашлось победителей. Одни побежденные.

— Я дал слово Батьке, хотя он меня об этом не просил. Просто сказал, что... Зачем я дал тогда слово?

— Потому же, почему ты промахнулся под Форосом из верно пристрелянного кольта. Ты устал воевать, Тимофей.

— Мы были на похабной войне, комбриг. Пей за наши обещания и за наши пулеметы.

Глиняные кружки глухо сталкиваются над столом.

5

Следующим утром мы останавливаемся на пыльной развилке, немного отъехав от Бахчисарая. Отец вынимает из машины свернутые в одну скатку шинель и одеяло и два армейских вещмешка.

— Дальше мы пешком.— Он протягивает руку шоферу.— Спасибо, товарищ.

Шофер машет рукой и разворачивается. Он едет назад, к Бахчисараю, но мы стоим, пока машина не скрывается за поворотом. Отец поднимает вещмешок.

— Спеши медленно, сопи тихо — сто лет проживешь.

Да, он так сказал, я точно помню. Он был провидцем, мой отец, и желал мне счастья. Но я с ним разминулся, со своим счастьем. Мы пошли по разным дорогам, и мое счастье, не встретив меня, где-то растерянно бродит в этом мире.

Мы идем по пыльной, завинченной в бесконечную спираль дороге все вверх и вверх, петля за петлей. Знойная тишина застыла в знойном безветрии, пахнет пылью и колючками, а петли все круче и выше, выше и круче.

— Перекур десять минут.

Отец не курит, но короткий отдых именуется перекуром. Я сбрасываю панаму, сажусь и хватаюсь за фляжку.

— Отставить.

Вновь панама на голове, а фляжка на поясе. Я не спорю, не прошу, хотя так хочется смыть застрявший в горле знойный колючий ком. Но пить в жаркий полдень — табу: воду пьют только утром и вечером. Отец внушил мне эту истину раньше, чем я научился просить воды. И вообще он человек табу: нельзя то, нельзя то, нельзя то. Не только для других, но прежде всего — для себя.

— Не клянись — и не будешь клятвопреступником. Не обещай — и не станешь обманщиком. Не давай честных слов — и никто не обвинит тебя в бесчестии.

Он, безусловно, прав, но я так не могу. И если мне не верят, даю «честное советское», «честное пионерское» и даже «честное под салютом всех вождей». Может быть, потому мне так часто и не верят?

Давно закончился «перекур», мы вновь ввинчиваемся в раскаленную высоту. Виток за витком, виток за витком по выжженной до горечи горной дороге. По ней очень трудно ходить в сандалиях: острые камешки забиваются под голую ступню, под пальцы, приходится останавливаться, вытряхивать помеху, догонять отца.

— Береги ноги, сынок. Надо всегда беречь ноги, даже на войне. Без головы умереть — легче легкого, а без ног помирать очень трудно. Трудно, сынок, ползти за смертью.

Знаю, отец. Я берег ноги. Но не сумел сберечь, ты уж прости. Это моя личная вина, мне некого проклинать. За мои ноги и за мою жизнь.

— Терпи, сынок. Еще немного.

Терплю, отец. Еще немного. Я помню, как стучало в висках на последнем подъеме. Сейчас тоже стучит, хотя я лежу. Стучит, с каждым ударом выбрасывая из моего тела теплый фонтанчик крови...

— Ты запомнишь сегодняшний день на всю жизнь.

Все зависит от длины жизни, отец. Хотя ты по-своему прав: жизнь есть единица измерения чего-то. Всеобщего горя, грехов, глупостей, слез ребенка и мировых страданий, позора девушки и отчаяния матери, боли, болезней, бессилия. Сколько сотен миллиардов жизней надо отсчитать, чтобы оплатить счет, предъявленный человечеству свыше? Страшный Суд уже начался, и первая мировая война была его первым заседанием.

Отец легко шагает впереди, а меня ноги тянут назад. Каждый шаг — преодоление собственной тяжести.

За поворотом — проем вверху, на горе, ведущей прямо в небо. Дорога закладывает перед проемом последний вираж, я преодолеваю его, обливаясь потом, и оказываюсь...

— Байдарские ворота, сынок!

Отец торжествующе простирает руку, даря мне море.

Огромное, спокойное, мерно вздыхающее, перекатывающее мускулы — волны от горизонта до горизонта, бесконечное в пространстве и времени. Праматерь всего живого на Земле, будь вечна, неизменна и благословенна! Мы ушли из чрева твоего, навсегда унеся тело твое в своей крови и дыхание твое в биении сердец. И смерти нет. Нет. Есть лишь возврат к тебе, Мать, воссоединение с тобой...

Глава вторая

1

— Сына, поедем в Крым?

Сына — это я, и так называет меня только мама. Для нее это как имя.



— Зашла в штаб узнать, когда папа вернется из командировки, а мне — путевку на два лица. Крым, Коктебель, май месяц. Я уже была в твоей школе, договорилась. Завтра выезжаем, сына.

— Крым!..

Интересно, какой он, мамин Крым? Чем отличается от отцовского? В том, что отличается, я не сомневаюсь. Я уже понял, что мы существуем в двойной системе — в мужской и женской, и все, все решительно делится на два. На зиму мужскую и зиму женскую, на грозу мужскую и грозу женскую, на женскую Москву, в которой мы теперь живем, и Москву мужскую, на... Все имеет два знака, две оценки, два понимания, и мамин Крым совсем не будет похож на Крым отца. С его атаками, проклятиями, подпругами, кровавыми дождями и выстрелами из старого кольта. Обожженный, жесткий, запекшийся — таков отцовский Крым. А мамин?

Завтра мы выезжаем. Плацкартным вагоном Москва — Феодосия: его отцепят в Джанкое. Я лежу на второй полке, смотрю в окно и жую пряники. Ах, как это прекрасно: лежать, смотреть и жевать пряники! Новых радостей нет, мы наследуем радости прошлого, и дети завтрашнего века с тем же восторгом воспримут преодоление пространства. Разве что без пряников.

— Я была политбойцом всю гражданскую. У политбойца разные обязанности, но задача одна: просвещение. Народ, воспитанный на мифах религии, не может ощущать себя свободным, пока не познает окружающую действительность...

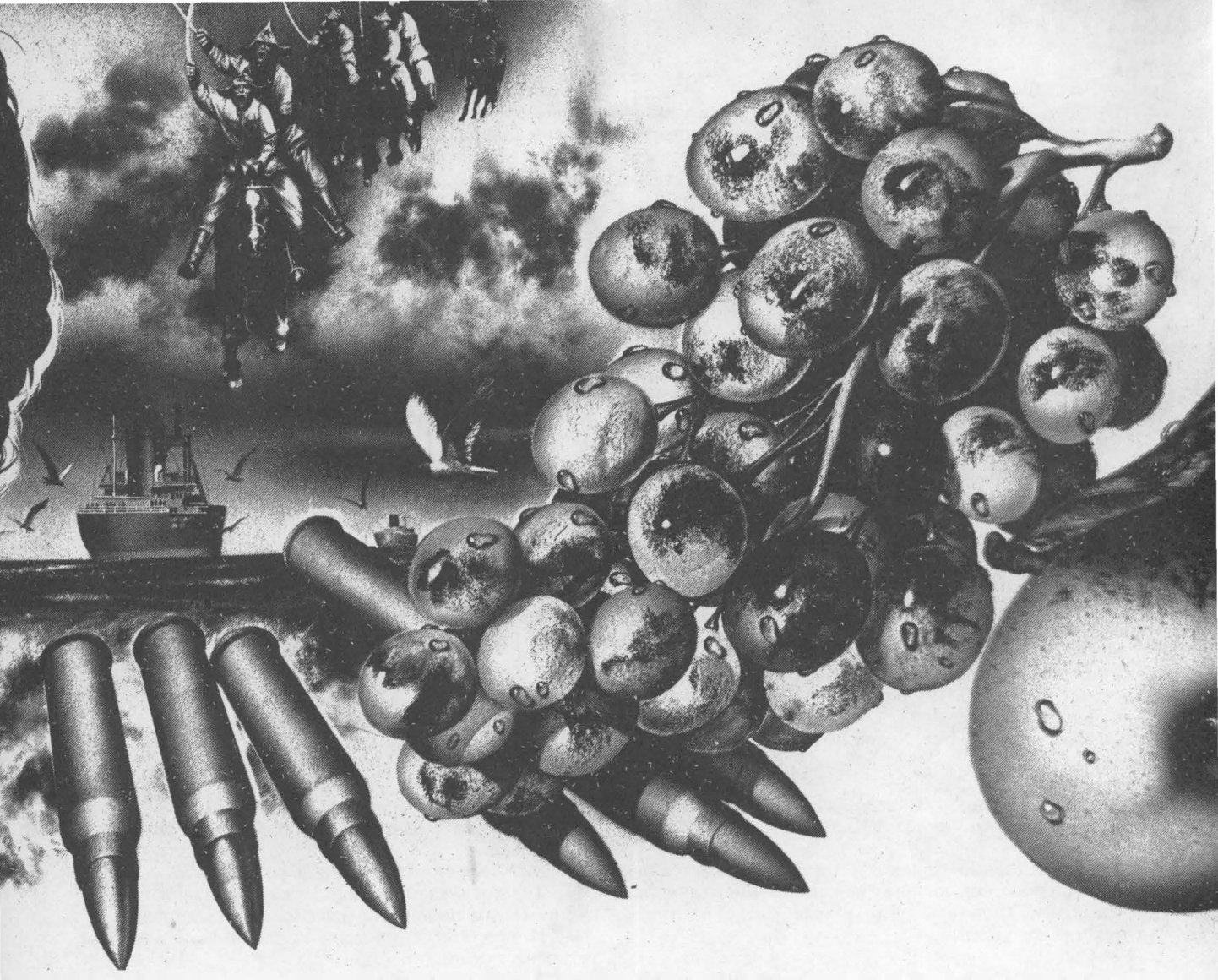
Журчит внизу мамин голос. Ее слушают уважительно, изредка позволяя себе уточняющие вопросы. Для других сейчас — не время.

— Простите, что вы сказали? Нет, я не работаю с той поры, как родила сына. Знаете, высший долг женщины — семья, воспитание детей, здоровье родных. В этом смысл женского начала живой природы, и искать иного — значит, нарушать законы естества. Следующее поколение, то есть наши дети, должно быть умнее, сильнее, здоровее и благороднее нас. Только при этом условии колесо истории будет катиться вперед, а не вращаться вхолостую...

Мамин голос. Я слышал его еще до рождения, но воспринимал, как добрый рокот волн, на которых выплыву в жизнь.

«Сына, почему ты бледный? Что случилось?»

Ничего, мама, просто я иду к тебе. Я возвращаюсь: ведь ты сейчас слилась с морем, правда? И я возвращаюсь к вам — к тебе и к морю. По каплям — к вам.



Я не увидел маминого Крыма, я не знаю, какой он, чем отличается от отцовского, лучше или хуже его. Не знаю и уже не узнаю.

В Джанкое расходятся пути. На юг — Симферополь, где три года назад я гулял по саду буржуя Христофорова с девочкой в бантах. Где она сейчас, интересно? И на восток — Феодосия, а рядом — Коктебель.

— Поезд стоит четыре часа, сына. Может быть, погуляем, посмотрим город? Семнадцать лет назад в него первыми ворвались конники твоего отца.

— Ура-а!..

Мама смеется. Я кричал, чтобы она рассмеялась: я-то помню разговор в Бахчисарае о двух тысячах сабель Махно. Но мама так редко улыбается в последнее время.

А на платформе возле дверей вагона — военный комендант. Смущен, часто вытирает пот, снимая фуражку, но — непреклонен:

— Вам надлежит тотчас же выехать в Москву. Вот билеты. Поезд через два часа тридцать семь минут.

— Почему? Зачем? Чье это распоряжение?

— Обождите в моем кабинете. Покажите, какие вещи. Прошу.

— Что-нибудь с мужем? С мужем?..

— Прошу. Не задавать. Вопросов.

Все отхлынули. Между нами и пассажирами вагона Москва — Феодосия зона карантина. Я ощущаю ее, не понимая. Ощущаю физически: я прокаженный. Мы прокаженные.

И мы молча выносим свои вещи и идем за комендантом через пути. Мама молчит. А в кабинете — вдруг:

— Дайте папиросу.

Курит, как курила когда-то. Политбойцом. Курит и молчит. И военный комендант тоже курит и тоже молчит. По телефону отвечает кратко, уходит, приходит. Потом ведет нас в какую-то столовую, предлагает обед, но ем я один, а они курят. Потом нас сажают на московский поезд. Комендант стоит у вагона, снимает фуражку, вытирает платком лоб и клеенку внутри фуражки. А когда бьет третий звонок,— через силу, не глядя:

— Ни с кем не разговаривайте. Прошу. Надеюсь.

Свистит кондуктор, и поезд трогается. Другой поезд, в другую сторону. Куда мы едем, мама? Нет, я не спрашиваю, я понимаю.

И не смотрю больше в окно со второй полки. Кончились пряники.

— Вы бы не курили так, гражданка. Дышать нечем.

— Что? Да, конечно. Конечно.

Дышать нечем. Конечно. Я ничего не понимаю и понимаю все. И поэтому ни о чем не спрашиваю. Просто нечем дышать. Просто чувствую предстоящее расставание, как котенок чувствует, что утром его утопят.

Кончились пряники.

— Сына...

Глухой ночью будит меня мама. Поезд стоит, за окном — неяркие ночные огни большой станции. В вагоне — сон, полумрак, храп, шепот. Молча одеваюсь, молча выходим на пустой перрон. В руках у мамы — чемодан. Идем быстро, молча, спросонок я то и дело спотыкаюсь. Пустой вокзал, нас разглядывают уборщицы. В дежурной кассе мама покупает билет, потом отправляет куда-то телеграмму, потом усаживает меня, сует мне деньги.

— Спрячь. Мы расстаемся. Ненадолго. Ты поедешь в Смоленск. Тебя встретит мой брат. Дядя Сережа, запомни. Дядя Сережа и тетя Клава.

— А ты?

— Я приеду. Потом. Да, вот письмо, чуть не забыла. Отдашь дяде Сереже.

— Мама, зачем...

— Так надо. Скорее. Сейчас должен подойти твой поезд. Идем.

Идем на другую платформу, ждем: мой поезд приходит не сразу. И мы молча смотрим, как трогается поезд на Москву. Мамин поезд — без мамы.

— Наш поезд уходит!

— Наш поезд ушел, сына. Мы поедем другими поездами.

— Но твои вещи...

— Вещи уехали. Там встретят. И выдадут. Слушайся дядю Сережу и тетю Клаву. Во всем. Обещай мне.

Суетливо стучит сердце, и страх надвигается на меня черным огнедышащим паровозом моего поезда. В Смоленск. К дяде Сереже и тете Клаве, которых я никогда не видал.

— Сына!..

Стук колес отрывает меня от мамы. Все дальше и дальше, все глубже и больнее, все — навсегда.

— Мама!..

2

Колеса стучат на стыках, отбивая ритм моего сердца. Оно ведь тоже сейчас на стыке вчерашнего и завтрашнего, семьи и одиночества, известного и неизвестного. Я на перекрестке — впервые. На перекрестии моей собственной маленькой жизни с чем-то непонятным, страшным, могучим. Я не понимаю, какая сила переводит стрелки судеб, я крохотная пылинка на колесах вагонов, я лечу с ними туда, куда меня везут. Где-то на иных поездах сейчас мои мама и папа, и поезда наши стремительно мчатся в разные стороны.

Я сижу на краешке скамьи в чьих-то ногах, поставив в проход чемодан. Общий вагон спит, похрапывая и постанывая, тусклые редкие лампочки освещают только проход вагона, и я не вижу своих спутников. Я пытаюсь что-то понять, но не знаю, что именно мне надо понимать. Я растерян и подавлен, я еще не осознаю своего сиротства, но ощущаю его тоску. Она давит меня, гнетет настолько, что я не могу заплакать. Я просто чувствую слезы внутри, чувствую до боли, хочу избавиться от них, но у меня нет сил на это. Плач остался там, на последнем перроне, где осталась мама. Я — один.

А может быть, все обойдется? Я приеду к дяде и тете, меня обласкают и успокоят, объяснят и приютят. А потом за мной приедет мама... нет, лучше отец, чтобы все увидели его два ромба и два ордена. Да, да, он приедет, я так неистово хочу этого, что он не может не приехать. Он приедет и увезет меня, и...

Я не знаю, сплю я или нет. Я так упрямо, так исступленно думаю об отце, который спасет, что вижу его...

Вот он сидит на корточках перед огненным зевом буржуйки и сует в ее нутро бумаги, бегло их просматривая. Когда это было?.. Мы жили в дощатых бараках под Миллеровом, была зима, и злые донские ветры выдували тепло из нашей комнаты. И все время топилась эта буржуйка, я помню ее раскаленные бока, но только однажды отец топил ее бумагами...

— И фотографии.

— Тебе не жалко?

— На них ты в погонах и орденах.

Летят в печку толстые паспарту старых фотографий. Я так любил их разглядывать: ведь на них отец и мать. Молодые и прекрасные.

— Хорошо, что ты вовремя выбросил свои ордена.

— Сначала я их заработал. Потом выбросил. Та присяга недействительна, ведь государь отрекся. Я присягнул другому знамени и заработал другие ордена.

— Ты сделал выбор добровольно. Ты не метался между фронтами от наших к вашим, как метались многие.

— Я и сейчас поступаю добровольно.

Горят фотографии юности. Горит прошлое моих родителей, память их вчерашней чести и вчерашнего долга.

— Надеюсь, не уволят. Я не могу расстаться с армией, это моя жизнь. Даже больше — смысл всей моей жизни.

— Мы не виноваты в своем рождении.

— Те, кого уже уволили, тоже не виноваты. Но лучше самим поставить крест на своем прошлом.

— И все-таки я многого не понимаю. Для чего устроена эта чистка?

— Армия сокращается.

— За счет самых образованных и самых опытных?

— Она обязана изменить свой классовый состав. Это необходимость.

— Ты веришь в эту необходимость?

— Безусловно и окончательно. Я красный командир, я порвал со своим прошлым. И если спросят, могу с чистой совестью сказать, что вырвал все корни.

— Все корни вырвать невозможно. Они прорастут в нашем ребенке.

— Вот этого нельзя допустить. Не мы одни сжигаем свое прошлое — вся страна уничтожает его.

— Она уничтожает проклятое прошлое, а мы — свою память. Как объяснить, когда он подрастет и спросит, кем были его деды и прадеды? Жить без них? Но как? Как перекати-поле?

— Жить будущим. Только будущим.

— Ты сможешь?

Молчит отец. Потрескивает печь.

Отец не смог: я помню нашу поездку в Крым. В отцовский Крым, выжженный, преданный и расстрелянный с тачанок под Ачи-Курганом... Нет, нет, нет! Не было ничего. Не было отцовского Крыма, не было выстрела под Форосом, не было встречи в Бахчисарае. Ничего не было: у меня тоже не должно быть корней...

3

Дядя долго читает письмо, очень долго. Я не хочу смотреть, как он читает, и упорно разглядываю город...

Смоленск. Белая пена черемух по ручьям и оврагам — вниз, к Днепру, с двух сторон: от Соборной горы и с Покровки. И выше всего, над городом, над черемухой заросшими склонами — золотой купол собора. А кругом красное ожерелье крепости.

Внизу шум железных дорог, вокзалов, рынка. Крупный булыжник серых улиц и темно-красные кирпичные тротуары. Грохот сотен колес, тихий Днепр, пролом в крепостной стене — наверх, к собору, к центру по Большой Советской. И маленькие, все в скрежете напряжения трамваи — тоже в гору.

В этом я разобрался потом, времени мне хватило. А тогда просто смотрел на черемуху, крепость, собор...

И искоса — на дядю Сережу. Худого, сутулого, в мятых брюках, заношенном пиджачке. С железными, как у Калинина, очками.

— Такие дела, что лучше молчать. Ты из этого... Из-под Брянска.

— Я из Москвы.

— Из-под Брянска, запомнил? Родные у тебя с голоду померли. Сбежал к дяде из детского дома.

— Я не сбежал!

— Сирота. Из приюта. Ничего больше не знаешь.

— Я не сирота!

— Сирота. Что уж. Сирота — это правда. Легко запомнить. И Брянск, приют, голод — это надо запомнить. Это путевка в жизнь.

Мы медленно поднимаемся по Большой Советской. Дядя несет чемодан, а я мучаюсь от невыплаканных слез.

Я понял, что я сирота. Там, на Большой Советской, не доходя до собора. На пути в жизнь, не выходя из Детства. А оно испуганно цеплялось за меня, висело, хотело плакать, отрываясь кусками, и долго волочилось позади. И вся Большая Советская была усеяна скорлупой моего детства.

Я вывалился из гнезда в мае тридцать седьмого. Если бы это можно было написать на моей могиле! Но хватит, хватит. Отныне я парень, а не мальчонка, и никто уже не поправит на мне одеяло, когда разбросаюсь во сне. Что там рассказывает мой дядя в калининских очечках?

— ...все расползается, все живое. Семьи, кружки, друзья, общества. По углам, по углам, по углам. Может быть, так и надо, а? Я не понимаю, то есть не могу постигнуть, а понять могу. Понять могу, а вот постичь... Тысячелетняя Россия. Тысячелетняя!..

Он вздыхает, перекладывает чемодан в другую руку. Но я отбираю чемодан, я уже не ребенок, а взрослые сами таскают свой багаж.

— Так решил? Ну-ну, тогда молодец. Тогда будем жить, а?

— Будем.

— Учиться хочешь или работать?

Я прикидываю. Чемодан тяжелый, и я часто меняю руки. Честно говоря, мне следует учиться. Этого хотели отец и мама, и я обязан. Но кто теперь будет меня кормить?

А дядя Сережа — будто слышит:

— Мы с женой, тетей Клавой, одни, так что не стесняйся. Кому счастье, кому несчастье, кому горе, а нам... Да. Решай сам. Как решишь.

— Надо бы семилетку.

— Надо — значит, надо, а там поглядим. Это даже проще: тетя Клава в гороно на важном посту, а я учительствую. Историю преподаю с прошлого года. До этого обществоведение, а теперь вот историю. По учебнику Панкратовой. Да. Так что до сентября отдыхай, обвыкайся, а там... Значит, сирота, из детдома сбежал. Это так нужно, понимаешь? Классовая борьба обостряется с каждым годом, и жить надо как проще.

— Я из Крыма, дядя Сережа. Папа и мама от голода... меня в детский дом. А я оттуда сбежал. К вам.

Секунду он смотрит на меня полумертвыми глазами, потом вдруг обнимает, двумя руками прижимая к груди мою голову. Крепко-крепко!

4

Улица Декабристов, дом два дробь шестьдесят один. Пройдя суровые сводчатые ворота, налево — полуподвальная комната с единственным окном вровень с землей. Бывшая дворницкая, вход прямо со двора. Маленький тамбур, где когда-то хранились дворницкие орудия производства, а теперь — наши дрова. И еще личный водопровод. Это — большое удобство: собственная вода под боком, хотя остальные удобства во дворе.

Комната длинная и узкая, всегда полутемная или темная абсолютно: солнце сюда не заглядывает. Старый письменный стол у окна, полки с книгами, колченогий обеденный стол, несколько стульев и моя клеенчатая кушетка. Тетя и дядя спят за шкапом у дальней стены.

Тетя Клава — худенькая, стриженная под «совслужащую», в неизменных кофтах: темно-коричневая — для службы, темно-синяя — для дома. Вечерами хлопочет у примуса, раздраженно стуча крышками кастрюль, утром спешит на службу. И дядя — в школу, тоже утром. И я весь день один. Мои дела: убрать комнату, сходить за продуктами. Зимой к этому прибавляются дрова для печки, но пока — лето.

Ни в нашей комнате, ни даже во дворе не определишь времен года. В комнате и в июле сыро и прохладно, а двор — без единой травки. Мощеный квадрат, с трех сторон замкнутый массивными трехэтажными зданиями, с четвертой — громоздкими сараями. Во двор выходят тылы хлебопекарни, продуктового магазина и Дома Ответработников. С утра во дворе колют дрова, разгружают подводы, и время здесь постоянно, неделимо на лето и зиму, весну или осень. Оно подчиняется только ритмам труда, по которым живет двор. И в том дворе я пока никого не знаю, хотя видел ребят издали.

— Знакомиться не торопись,— наставляет дядя.— Пусть сначала приглядятся, привыкнут.

Второй вечер. В первый я рассказывал, что знал. Командировка, в которую отец уехал еще в марте, путевка для мамы и меня в Коктебель, военный комендант станции Джанкой, моя ночная пересадка на поезд в Смоленск. Тетя Клава сурово ставит точку:

— Больше не вспоминаешь. И никому не рассказываешь.

— Никому,— тихо и очень серьезно подтверждает дядя.— Никогда. Ни под каким видом. Иначе...

Он беспомощно разводит руками, включая в объятия худенькую, серьезную тетю Клаву, меня, длинную сырую комнату со всеми ее мокрицами, крысами, тараканами и клопами.

— Я понимаю. Крым, голод, детдом.

— Поменьше, поменьше,— строго говорит тетя.

— Что поменьше?

— Крым, детдом — подробностей не надо. Только обозначь, а рассказывай переживания, их не проверишь.

— И вообще больше слушай. Сейчас такое время, когда слушать полезнее, чем говорить,— вздыхает дядя Сережа.

— Письмо!

Тетя Клава выкрикивает это слово, как команду. Потом я пойму, потом... Нет, я ничего не успею понять, я только успею догадаться, что женщины — наше спасение. Они чувствуют опасность без всяких

чувств, потому что им отвечать за завтрашний день. Ведь может так случиться, что некому будет варить обед, некого ждать, не на кого ворчать, и тогда погаснут все очаги на земле. Все — и придет последнее оледенение: я чувствую, как у меня стынут на ногах пальцы.

Дядя Сережа суматошно хватает со стола письмо, бросается к печке. Вскрикивает: кажется, он обжегся, открывая дверцу. Но письмо бросил, и я вижу, как огонь начинает его корежить.

— Они по пеплу восстанавливают,— тихо говорит тетя Клава.

Дядя Сережа старательно орудует кочергой, на миг взвиваются искры, и все кончается. Нет больше маминого письма. Ни одной строчки.

— Теперь они не прочтут.

Дядя Сережа опасливо оглядывается на меня, не зная еще, как я оценю это отчуждение — «они». Но я уже сжег все мамины слова. Раньше, в ту одинокую ночь в поезде.

— А Маруся Ивановна? — вдруг тихо спрашивает тетя.

Я ничему не удивляюсь. Я как будто уже знаю, что во дворе живет бойкая и смешливая дворничиха Маруся, забывшая в тридцать шестом свой смех по утрам, когда золотари приезжают чистить выгребные ямы и над всем кварталом повисает вонь. Густая, хоть режь: ее унимал только смех, и Маруся смеялась. А потом вернулась откуда-то с чужими глазами и без смеха. И потребовала, чтобы все жильцы звали ее Марусей Ивановной. По батюшке. Весь двор послушно стал называть ее так и стал бояться. А тот, кто не стал называть и бояться, тот уехал, никому ничего не сказав.

— Маруся Ивановна, а где Анохин? Куда девался?

— Куды, куды. Поменьше спрашивай.

Когда рекомендуют поменьше спрашивать, это означает — побольше бояться. Я уже осваиваю понемногу эти новые правила и уже боюсь. Боюсь неизвестной Маруси Ивановны и особенно нашего знакомства, от которого не убежишь ни на каком ночном поезде.

А тем временем решаются вопросы обо мне. Вслух.

— Учиться ли ему в школе? Сергей, ты сошел с ума. Ведь там прежде всего требуют документы.

— Но как же ему без образования?

— Он пойдет работать. На завод. Нет, в железнодорожные мастерские. Да, да, там — здоровый коллектив.

Я чувствую запах страха. Люди истекают им перед цепными псами, сорвавшимися с цепей, перед старательными дулами расстрелов, перед временами, когда человека нет. Есть носитель чего-то: греха, идеи, веры, измены. Сосуд, из которого можно выплеснуть его собственную жизнь, если кому-то кажется, что она не соответствует. Не соответствует параметрам существования. Его шаблонам, матрицам, в лучшем случае — микрометрам с красной отметиной «До сих».

А Маруся Ивановна — ОТК. Ей выдали примитивный шаблон — до микрометра она никогда не поднимется. Но вгонять всех под шаблон — это с упоением ничтожества, достигшего первого восчувствования власти, первого ее глотка, всегда пьянящего и никогда не освежающего.

5

Маруся Ивановна появляется только через три дня. Она дает нам время вволю упиться ее властью и своим страхом.

— Здрасте с кисточкой. Наше вам. Как живете-тужите? Слыхала, будто мальца родили? И сразу — хоть к станку.

Она не слыхала — она видала. Меня лично. И я раза четыре с нею здоровался за эти три дня. Впервые — вечером по приезде.

— Вынеси ведро,— сказала тогда тетя.— Помойка во дворе.

Сараи — огромные, как вокзалы — замыкают четвертую сторону двора. Может быть, в них когда-то размещались экипажи и лошади, а теперь они все нарублены на клетушки, в которых местные воруют дрова друг у друга.

В середине сараев — разрыв для общественных нужников и огромной, как фонтан, помойки. Искать ее не приходится: помойка не в центре сараев, помойка в центре вселенной.

И возле нее трое парнишек моего возраста. А наискосок возле дома — двое постарше. По грязной, с чужого плеча одежонке и манере цикать сквозь зубы — беспризорники. Курят в обществе миловидной женщины в красной косынке.

— Пашка, родной! Пашка, родной!..

Двое парнишек загораживают мне дорогу, а один нараспев зовет какого-то Пашку. Пацаны вполне домашнего вида, я тревоги не испытываю, хотя и понимаю, что подраться придется. А в руках ведро, полное жидких помоев.

— Пашка, родной!

Женщина в косынке поворачивается, и я сразу же узнаю Марусю Ивановну. Я ни разу не видел ее, а узнаю мгновенно и суетливо кланяюсь:

— Здравствуйте. Здравствуйте.

Она продолжает молча смотреть на меня, парни тоже, а ровесники по-прежнему загораживают дорогу с явно враждебными намерениями: один демонстративно засучивает рукава, второй — посерьезнее, с прищуром — зажимает в кулаке старинный пятак для жесткого удара, третий припадочно кличет «родного Пашку». А беспризора с полным спокойствием смотрит на нас, и только в глазах Маруси Ивановны мне чудится огонек любопытства. И, поймав его, я шагаю пацанам навстречу и надеваю полное помоев ведро на голову серьезного с пятаком. Поворачиваюсь и иду назад, каждую секунду ожидая удара и силой заставляя себя умерить шаг. Пусть бьют — только не бежать. Пусть бьют — потом разберемся: я знаю закон дворов, улиц и военных городков. Сейчас врежут...

Сзади — хохот Маруси Ивановны. Хохот вперемешку с забористым матом, которому вторит беспризора.

— Эй, чернявый!

Но я не оборачиваюсь. Я предъявил свою ксиву, драться мне не хочется, и лучше уйти таинственным, как граф Монте-Кристо.

Мы с тобой читали его, мама. Мы рвали друг у друга страницы, благо «Граф» был давно разодран. Мы читали взахлеб, и тот, кто обгонял, с покровительственным торжеством поглядывал на отстающего: «Я уже знаю, а ты — нет...» Ма, ты обманывала меня, азартно играя в восторг первооткрывателя. Обманывала, мам? Честно, в который раз ты читала «Графа Монте-Кристо»?

Утром следующего дня завтракаем чаем и черным хлебом с маслом: тетя Клава готовит только обеды. Да и некогда, потому что ложатся они поздно: я уснул, а они еще говорили, говорили...

— Сходишь за хлебом. Если будут давать сахар, бери два кило. С мальчишками не болтать.

Это ее указания, хотя я вчера ничего не сказал про встречу возле помойной ямы. Дядя молчит, и вид у него очень виноватый. Я понимаю: ведь он смутил призрачный покой семьи, оказавшись обладателем опасных родственников.

— В пять придем.— Он робко улыбается мне.

— У меня ячейка.— Тетя Клава не улыбается.—